

**Александр Чаянов**

**Путешествие моего брата  
Алексея в страну  
крестьянской утопии**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-312.9  
ББК 84-445  
Ч-32

**Чаянов А.**  
Ч-32 Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии / Александр Чаянов – М.: Книга по Требованию, 2012. – 42 с.

**ISBN 978-5-4241-2723-6**

Александр Васильевич Чаянов (17 января 1888, Москва – 3 октября 1937?) российский экономист, социолог, социальный антрополог, международно признанный основатель междисциплинарного крестьяноведения; писатель-фантаст и утопист. Автор термина "моральная экономика".

**ISBN 978-5-4241-2723-6**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2012

Путешествие моего брата  
Алексея в страну крестьянской  
утопии



## Глава первая,

в которой благосклонный читатель знакомится с торжеством социализма и героем нашего романа Алексеем Кремневым

Было уже за полночь, когда обладатель трудовой книжки № 34713, некогда называвшийся в буржуазном мире Алексеем Васильевичем Кремневым, покинул душную, переполненную свыше меры большую аудиторию Политехнического музея.

Туманная дымка осенней ночи застилала уснувшие улицы. Редкие электрические фонари казались затерянными в уходящих далях пересекающихся переулков. Ветер трепал жёлтые листья на деревьях бульвара, и сказочной громадой белели во мраке Китайгородские стены.

Кремнев повернул на Никольскую. В туманной дымке она, казалось, приняла свои былые очертания. Тщетно кутаясь в свой плащ от пронизывающей ночной сырости, Кремнев с грустью посмотрел на Владимирскую церковь, часовню Пантелеймона. Ему вспомнилось, как с замиранием сердца он, будучи первокурсником-юристом, много лет тому назад купил вот здесь, направо, у букиниста Николаева «Азбуку социальных наук» Флеровского, как три года спустя положил начало своему иконному собиранию, найдя у Елисея Силина Новгородского Спаса, и те немногие и долгие часы, когда с горящими глазами прозелита рылся он в рукописных и книжных сокровищах Шибановского антиквариата — там, где теперь при тусклом свете фонаря можно было прочесть краткую надпись «Главбум».

Гоня преступные воспоминания, Алексей повернул к Иверским, прошёл мимо первого Дома Советов и потонул в сумраке московских переулков.

А в голове болезненно горели слова, обрывки фраз, только что слышанных на митинге Политехнического музея:

«Разрушая семейный очаг, мы тем наносим последний удар буржуазному строю».

«Наш декрет, запрещающий домашнее питание, выбрасывает из нашего бытия радостный яд буржуазной семьи и до скончания веков укрепляет социалистическое начало».

«Семейный уют порождает собственнические желания, радость хозяйчика скрывает в себе семена капитализма».

Утомлённая голова ныла и уже привычно мыслила, не думая, сознавала, не делая выводов, а ноги машинально передвигались к полуразрушенному семейному очагу, обречённому в недельный срок к полному уничтожению, согласно только что опубликованному и пояснённом декрету 27 октября 1921 года.

## Глава вторая,

повествующая о влиянии Герцена на воспаленное воображение советского служащего

Намазав маслом большой кусок хлеба, благословенный дар богоспасаемой Сухаревки, Алексей налил себе стакан уже вскипевшего кофе и сел в своё рабочее кресло.

Сквозь стёкла большого окна был виден город, внизу в туманной ночи молочными светлыми пятнами тянулись вереницы уличных фонарей. Кое-где в чёрных массивах домов тускло желтели освещённые ещё окна.

«Итак, свершилось, — подумал Алексей, вглядываясь в ночную Москву. — Старый Морис, добродетельный Томас, Беллами, Блечфорт и вы, другие, добрые и милые утописты. Ваши одинокие мечты стали всеобщим убеждением, величайшие дерзания — официальной программой и повседневной обыденщиной! На четвёртый год революции социализм может считать себя безраздельным владыкой земного шара. Довольны ли вы, пионеры-утописты?»

И Кремнев посмотрел на портрет Фурье, висевший над одним из книжных шкафов его библиотеки.

Однако для него — самого старого социалиста, крупного советского работника, заведующего одним из отделов Мирсовнархоза, как-то не всё ладно было в этом воплощении, чувствовалась какая-то смутная жалость к ушедшему, какая-то паутина буржуазной психологии ещё затемняла социалистическое сознание.

Он прошёл по ковру своего кабинета, скользнул взором по переплётам книг и неожиданно для себя заметил вереницу томиков полузабытой полки. Имена Чернышевского, Герцена и Плеханова глядели на него с корешков солидных переплётов. Он улыбнулся, как улыбаются при воспоминаниях детства, и взял с полки том павленковского Герцена.

Пробило два часа. Часы ударили с протяжным шипением и снова смолкли.

Хорошие, благородные и детски наивные слова раскрывались перед глазами Кремнева. Чтение захватывало, волновало, как волнуют воспоминания первой юношеской любви, первой юношеской клятвы.

Ум как будто освободился от гипноза советской повседневности, в сознании зашевелились новые, небанальные мысли, оказалось возможным мыслить иными вариантами.

Кремнев в волнении прочёл давно забытую им пророческую страницу: «Слабые, хилые, глупые поколения, — писал Герцен, протянут как-нибудь до взрыва, до той или другой лавы, которая их покроет каменным покрывалом и предаст забвению летописей. А там? А там настанет весна, молодая жизнь закипит на их гробовой доске, варварство младенчества, полное недостроенных, но здоровых сил, заменит старческое варварство, дикая свежая мощь распахнется в молодой груди юных народов, и начнётся новый круг событий и третий том всеобщей истории.

Основной тон его можно понять теперь. Он будет принадлежать социальным идеям. Социализм разовьётся во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного

меньшинства крик отрицания и снова начнётся смертная борьба, в которой социализм займёт место нынешнего консерватизма и будет побеждён будущей, неизвестной нам революцией».

«Новое восстание. Где же оно? И во имя каких идеалов? — думалось ему. — Увы, либеральная доктрина всегда была слаба тем, что она не могла создать идеологии и не имела утопий».

Он улыбнулся с сожалением. О вы, Милоновы и Новгородцевы, Кусковы и Макаровы, какую же утопию вы начертаете на ваших знамёнах?! Что, кроме мракобесия капиталистической реакции, имеете вы в замену социалистического строя?! Я согласен, мы живём далеко не в социалистическом раю, но что вы дадите взамен его?

Книга Герцена вдруг с треском захлопнулась сама собой, и пачка фолиантов упала с полки.

Кремнев вздрогнул.

В комнате душно и запахло серой. Стрелки больших настенных часов завертелись всё быстрее и быстрее и в неистовом вращении скрылись из глаз. Листки отрывного календаря с шумом отрывались сами собой и взвивались вверх, вихрями бумаги наполняя комнату. Стены как-то исказились и дрожали.

У Кремнева кружилась голова, и холодный пот увлажнял его лоб. Он вздрогнул, и в паническом ужасе бросился к двери, ведущей в столовую, и дверь с треском ломающегося дерева захлопнулась за ним. Он тщетно искал кнопку электрического освещения. Её не было на старом месте. Передвигаясь в темноте, он натёкался на незнакомые предметы. Голова кружилась и сознание мутнело, как во время морской болезни. Истощённый усилиями, Алексей опустил на какой-то диван, никогда не бывший здесь раньше, и сознание его покинуло.

## Глава третья,

изображающая появление Кремнева в стране Утопии и его приятные разговоры с утопической москвичкой об истории живописи XX столетия

Серебристый звонок разбудил Кремнева.

— Алло, да, это я, — послышался женский голос. — Да, приехал, очевидно, сегодня ночью... Ещё спит... Очень устал, заснул не раздеваясь... Хорошо, я позвоню.

Голос смолк, и шуршание юбок указало, что его обладательница вышла из комнаты.

Кремнев приподнялся на диване и протёр в изумлении глаза. Он лежал в большой жёлтой комнате, залитой лучами утреннего солнца. Мебель странного и неизвестного Алексею стиля из красного дерева с зелёно-жёлтой обивкой, жёлтые полуоткрытые занавеси окон, стол с диковинными металлическими приборами окружали его. В соседней комнате слышались лёгкие женские шаги. Скрипнула дверь, и всё смолкло.

Кремнев вскочил на ноги, желая дать себе отчёт в случившемся, и быстро подошёл к окну.

На голубом небе, как корабли, плыли густые осенние облака. Рядом с ними немного ниже и совсем над землёй скользили несколько аэропланов, то маленьких, то больших, диковинной формы, сверкая на солнце вращающимися металлическими частями.

Внизу расстился город... Несомненно, это была Москва.

Налево высилась громада кремлёвских башен, направо краснела Сухаревка, а там вдали гордо возносились Кадаши.

Вид знакомый уже много, много лет.

Но как всё изменилось кругом. Пропали каменные громады, когда-то застилавшие горизонт, отсутствовали целые архитектурные группы, не было на своём месте дома Нирензее. Зато всё кругом утопало в садах... Раскидистые купы деревьев заливали собою всё пространство почти до самого Кремля, оставляя одинокие острова архитектурных групп. Улицы-аллеи пересекали зелёное, уже желтеющее море. По ним живым потоком лились струи пешеходов, авто, экипажей. Всё дышало какой-то отчётливой свежестью, уверенной бодростью.

Несомненно, это была Москва, но Москва новая, преображённая и просветлённая.

— Неужели я сделался героем утопического романа? — воскликнул Кремнев. — Признаюсь, довольно глупое положение!

Чтобы ориентироваться, он стал осматриваться кругом, рассчитывая найти какой-нибудь отправной пункт к познанию нового окружающего его мира.

— Что ожидает меня за этими стенами? Благое царство социализма, просветлённого и упрочившегося? Дикая анархия князя Петра Алексеевича? Вернувшийся капитализм? Или, быть может, какая-нибудь новая, неведомая ранее социальная система?

Поскольку можно было судить из окна, было ясно одно: люди жили на достаточно высокой ступени благосостояния и культуры и жили сообща. Но этого



было бы ещё мало, чтобы понять сущность окружающего.

Алексей с жадностью стал рассматривать окружавшие его вещи, но они давали весьма мало.

В большинстве это были обычные вещи, выделявшиеся только тщательностью своей отделки, какой-то подчёркнутой точностью и роскошью выполнения и странным стилем своих форм, отчасти напоминавших русскую античность, отчасти орнаменты Ниневии. Словом, это был русифицированный Вавилон.

Над диваном, где проснулся Кремнев, очень глубоким и мягким, висела большая картина, привлекавшая его внимание. С первого взгляда можно было уверенно сказать, что это классическая вещь Питера Брейгеля-старшего. Та же композиция с высоким горизонтом, те же яркие и драгоценные краски, те же коротенькие фигурки, но... на доске были написаны люди в цветных фраках, дамы с зонтиками, автомобили, и, несомненно, сюжетом служило что-то вроде отлёта аэропланов. Такой же характер носили несколько репродукций, лежавших на соседнем столике.

Кремнев подошёл к большому рабочему столу, сделанному из чего-то вроде плотной коробки, и с надеждой стал рассматривать разбросанные по столу книги. Это были 5-й том «Практики социализма» В. Шер'а, «Ренессанс кринолина, опыт изучения современной моды», два тома Рязанова «От коммунизма к идеализму», 38-е издание мемуаров Е. Кусковой, великолепное издание «Медного всадника», брошюра «О трансформации В-энергии», и наконец его рука, дрожа от волнения, взяла номер свежей газеты.

Волнуясь, Кремнев развернул небольшой лист. На заголовке стояла дата 23 часа вечера 5 сентября 1984 года. Он перемахнул через 60 лет.

Не могло быть сомнения, что Кремнев проснулся в стране будущего, и он углубился в чтение газетного листа.

«Крестьянство», «Прошлая эпоха городской культуры», «Печальной памяти государственный коллективизм»... «Это было во времена капиталистические, то есть во времена доисторические...», «Англо-французская изолированная система» — все эти фразы и десятки других фраз пронизывали мозг Кремнева, наполняли его душу изумлением и великим желанием знать.

Телефонный звонок прервал его размышления. В комнате рядом послышались шаги. Дверь распахнулась, и вместе с потоком солнечных лучей вошла молодая девушка.

— Ах, вы уже встали, — весело сказала она. — Я проспала вчера ваш приезд. Звонок повторился.

— Простите, это должно быть, брат беспокоится о вас. Да, он уже встал... Не знаю, право. Сейчас спрошу. Вы говорите по-русски, господин... Чарли Мен, если не ошибаюсь.

— Конечно, конечно! — неожиданно для себя и очень громко воскликнул Алексей.

— Говорит, и даже с московским акцентом. Хорошо, я передам трубку.

Растерявшийся Кремнев получил в свои руки нечто, напоминавшее телефонную трубку старого времени, услышал привет, сказанный мягким басом, обещание заехать за ним в три часа, уверение в том, что сестра позаботится обо всём, и, кладя аппарат, осознал вполне, вполне отчётливо, что его принимают за кого-то другого, кому имя Чарли Мен.

Удача способствовала ему. Первое же письмо, им взятое, было подписано Чарли Меном, и в нескольких фразах его излагалось желание посетить Россию и ознакомиться с её инженерными установками в области земледелия.

## Глава четвёртая,

продолжающая третью и отделённая от неё только для того, чтобы главы не были очень длинными

Дверь растворилась, и молодая хозяйка вошла в комнату, неся над головой поднос с дымящимися чашками утреннего завтрака.

Алексей был очарован этой утопической женщиной, её почти классической головой, идеально посаженной на крепкой сильной шее, широкими плечами и полной грудью, поднимавшей с каждым дыханием ворот рубашки.

Минутное молчание первого знакомства вскоре сменилось оживлённым разговором. Кремнев, избегая роли рассказчика, увлёк разговор в область искусства, полагая, что не затруднит этим девушку, живущую в комнатах, где на стенах висят прекрасные куски живописи.

Молодая девушка, которую звали Параскевой, с жаром юношеского увлечения повествовала о своих любимых мастерах: старом Брейгеле, Ван Гоге, старике Рыбникове и великолепном Ладонове. Пламенная поклонница неореализма, она искала в искусстве тайны вещей, чего-то или божеского или дьявольского, но превышающего силы человеческие.

Признавая высшую ценность всего сущего, она требовала от художника конгениальности с творцом вселенной, ценила в картине силу волшебства, искру прометееву, дающую новую сущность, и, в сущности, была близка к реализму старых мастеров Фландрии.

Из её слов Кремнев понял, что после живописи эпохи великой революции, ознаменованной футуризмом и крайним разложением старых традиций, наступил период барокко-футуризма, футуризма укрощённого и сладостного.

Затем, как реакция, как солнечный день после грозы, на первое место выдвинулась жажда мастерства; в моду начали входить болонцы, примитивисты были как-то сразу забыты, а залы музеев с картинами Мемлинга, Фра Беато, Боттичелли и Кранаха почти не находили себе посетителей. Однако, подчиняясь кругу времени и не опуская своей высоты, мастерство постепенно получило декоративный наклон и создало монументальные полотна и фрески эпохи Варваринского заговора, бурной полосой прошла эпоха натюрморта и голубой гаммы, затем властителем мировых помыслов сделались суздальские фрески XII века, и наступило царство реализма с Питером Брейгелем как кумиром.

Два часа прошли незаметно, и Алексей не знал, слушать ли ему глубокий контроль своей собеседницы или же рассматривать тяжёлые косы, заплетённые на её голове. Широко открытые внимательные глаза и родинка на шее говорили ему лучше всяких доказательств о превосходстве неореализма.

## Глава пятая,

чрезвычайно длинная, необходимая для ознакомления Кремнева с Москвой  
1984 года

— Я повезу вас через весь город, — сказал брат Параскевы, Никифор Алексеевич Минин, усаживая Кремнева в автомобиль, — и вы увидите нашу теперешнюю Москву.

Автомобиль тронулся.

Город казался сплошным парком, среди которого архитектурные группы возникали направо и налево, походили на маленькие затерявшиеся городки.

Иногда неожиданный поворот аллеи открывал глазам Кремнева очертания знакомых зданий, в большинстве построенных в XVII и XVIII веках.

За густыми кронами желтеющих клёнов мелькнули купола Барышей, расступившиеся липы открыли пышные контуры растреллиевского здания, куда Кремнев, будучи гимназистом, ходил ежедневно. Словом, они ехали по утопической Петровке.

— Сколько жителей в вашей Москве? — спросил Кремнев своего спутника.

— На этот вопрос не так легко ответить. Если считать территорию города в объёме территории эпохи великой революции и брать постоянно ночующее здесь население, то теперь оно достигает уже, пожалуй, 100000 человек, но лет сорок назад, непосредственно после великого декрета об уничтожении городов, в ней насчитывалось не более 30000. Впрочем, в дневные часы, если считать всех приехавших и обитателей гостиниц, то, пожалуй, мы получим цифру, превышающую пять миллионов.

Автомобиль замедлил ход. Аллея становилась уже; архитектурные массивы сдвигались всё теснее и теснее, стали попадаться улицы старого городского типа. Тысячи автомобилей и конных экипажей в несколько рядов сплошным потоком стремились к центру города, по широким тротуарам двигалась сплошная толпа пешеходов. Поражало почти полное отсутствие чёрного цвета; яркие, голубые, красные, синие, жёлтые, почти всегда одноцветные мужские куртки и блузы смешивались с женскими очень пёстрыми платьями, напоминавшими собою нечто вроде сарафанов с кринолином, но всё же являющими собою достаточное разнообразие форм.

В толпе сновали газетчики, продавщики цветов, сбитня и сигар. Над головою толпы и потоком экипажей сверкали на солнце волнующиеся полотнища стягов и тяжёлой, увешанных флажками.

Почти под самыми колесами экипажей шныряли мальчишки, продававшие какие-то листочки и кричавшие благим матом:

— «Решительная!! Ваня-вологжанин против Тер-Маркельянца! Два жоха и одна ничка!»

В толпе оживлённо спорили и перебрасывались возгласами, повторяя больше всего слова о плочке и ничке.

Кремнев с изумлением поднял глаза на своего спутника. Тот улыбнулся и сказал:

— Национальная игра! Сегодня последний день международного состязания